



ИВАН НАЖИВИН

*Записки
о революции*

КРУШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА



Москва

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Н18

Воспоминания И. Ф. Наживина «Записки о революции»
впервые опубликованы в 1921 году в Вене издательством «Русь».

Фотография на обложке: Архив РИА Новости

Наживин, Иван Федорович.

Н18 Записки о революции : крушение Российской империи глазами очевидца / Иван Наживин ; вступ. ст. и коммент. Я. В. Логиновой. — Москва : Эксмо, 2026. — 384 с. — (Россия на переломе. Книги о поворотных моментах истории).

ISBN 978-5-04-244600-9

Сподвижник Толстого, бытописатель русской деревни, Иван Наживин вел дневник с первых дней Февраля до бегства из Новоросска — и в 1921 году издал его в Вене. Книга оскорбила всех: эмиграция объявила автора «бунтующим обывателем», Москва — черносотенцем, и оба лагеря при этом растащили ее на цитаты против друг друга. Революция, записанная по горячим следам человеком, который не знал, чем все кончится, — и не умел промолчать.

Здесь революция показана не из Смольного и не из Зимнего, а оттуда, где жило ее большинство: из деревни, где мужики прицениваются к барской земле, из уездных городков, где никто не может отличить одну партию от другой, из московских редакций, где вчерашние социалисты со стыдом вспоминают царские порядки. Сам автор мечется вместе со всеми — голосует наобум, спорит до хрипоты, бежит на белый Юг и там, среди спекулянтов и раненых офицеров, приходит в отчаяние уже от белых. Хроника четырех лет, в которой узнается не учебник истории, а живая растерянность людей, на которых история свалилась без предупреждения.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Логинова Я.В., вступительная
статья, комментарии, 2026

© Издание, оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-244600-9

Иван Наживин: обыватель революции

Перед вами книга, которая в начале двадцатых годов ухитрилась вывести из себя всех сразу. В 1921 году на нее обрушилась русская эмиграция: парижские «Современные записки» назвали автора бунтующим обывателем, берлинские газеты изощрялись в издевательских заголовках. В 1922-м настала очередь Москвы: «Красная новь» устами одного из руководителей советской печати объявила автора серым кулаком и черносотенцем. Два мира, ненавидевшие друг друга смертельно, ни в чем не согласные — ни в прошлом, ни в будущем, ни в том, кто виноват, — эту книгу прочли одинаково: как личное оскорбление.

Для свидетельства о революции и Гражданской войне трудно вообразить рекомендацию заманчивее. Если рассказ очевидца оказался одинаково невыносим для обоих лагерей, значит, его нельзя окончательно присвоить.

Очевидца звали Иван Наживин.

Родился он 6 сентября 1874 года — по одним источникам, в Москве, по другим — в деревне Пантюки Владимирской губернии. Сам он «родным гнездом» всю жизнь называл третье место — деревню Буланово в Суздальском крае, где прошло его детство, и привязан был

к ней настолько, что одно время подписывался псевдонимом Булановский. Его отец, Федор Миронович Наживин, вышел из крестьян, разбогател на лесной торговле и дослужился до купца второй гильдии. Мать умерла, когда Ивану было четыре года, и воспитывала мальчика бабушка.

В восемь лет его отдали в среднюю школу, которую он так и не окончил. До старости Наживин вспоминал ее как «сумасшедший, безумный режим»¹ и уверял, что всем, что знает, обязан не школе, а самообразованию. Не удалась и попытка отца приобщить сына к семейному лесному делу: конторская жизнь оказалась ему настолько невыносима, что закончилась нервным расстройством. В итоге с 1892 года молодой Наживин, живя на отцовские деньги, подолгу оставался во Франции и Швейцарии и лишь наездами возвращался в Россию.

Там же, за границей, случилось и главное событие его личной жизни: в 1902 году он вступил в гражданский брак с Анной Ефимовной Зусьман — еврейкой, студенткой Лозаннского университета. Обвенчаться они смогли лишь шесть лет спустя, после ее перехода в православие, а до того, чтобы жить с женой в России, писатель последовал за ней в черту оседлости. Биографическая подробность, не вполне укладывающаяся в позднейший образ Наживина-черносотенца, придуманного эмигрантскими критиками.

Писать он начал рано и вполне успешно. Первый рассказ, «Агапыч», вышел в 1890 году в журнале «Природа и охота»; затем короткие вещи стали появлять-

¹ *Наживин И. Ф. Моя исповедь // Наживин И. Ф. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М., 1912. С. 13–14.*

ся в «Образовании», «Русской мысли», «Русском богатстве», «Журнале для всех». В 1900 году рассказы собрались в книгу «Родные картинки», встреченную одобрительным отзывом в «Русском богатстве» — анонимным, но приписываемым самому Николаю Михайловскому, одному из главных критиков народнического направления¹. Наживин начинал не как случайный литератор, а как замеченный критикой автор рассказов о деревне.

Следом вышли «Убогая Русь» (1901), «Перед рассветом» (1902), «Дешевые люди», «У дверей жизни»; рецензенты видели в Наживине скромного и неприятного автора, которому небольшие темы удавались то лучше, то хуже. Многие его рассказы печатались дешевыми книжечками «для народа» — в сериях «Посредник», «Библиотека для всех», «Донская речь». Это был сознательный выбор писателя, обращавшегося не к столичной публике, а непосредственно к простому читателю.

Уже в этих ранних книгах критики замечали особенности его письма, которые позднее будут повторяться почти в каждой рецензии. Книгу путевых впечатлений «Среди могил» (1903) — о Турции, Греции и Италии, перегруженную выпендренными описаниями, — Брюсов разнес, сравнив наживинские метафоры с «безобразными тряпичными цветами, приколотыми к простой шляпке»²: шляпка бы исправно служила, но искусствен-

¹ Русское богатство. 1900. № 10 (отзыв опубликован без подписи; атрибутируется Н. К. Михайловскому — см.: Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4. М.: Большая российская энциклопедия, 1999, ст. С. Г. Поляковой «Наживин»).

² В. Б. [Брюсов В. Я.] [Рец. на кн.: Наживин И. Среди могил. М., 1903] // Весы. 1904. № 7. С. 61.

ные цветы делают ее нестерпимой. При этом его книги одну за другой запрещала цензура — вовсе не за реакционность, а, напротив, за мрачность: цензор доносил начальству, что вся Россия у автора выходит «уродливой, дикой и скверной», а само отечество представляется ему «грязным болотом»¹. При этом сам Наживин вспоминал, что примерно с 1905 года его перестала печатать и прогрессивная периодика — за резко отрицательное отношение к революции его, по его выражению, «отлучили от журнальной церкви и предали анафеме»². Слишком мрачный для царской цензуры, слишком консервативный для левой печати — эта вилка определилась за полтора десятилетия до «Записок о революции» и уже никуда не денется.

Центральным событием этих лет стал Толстой. Наживин пришел к нему характерным путем — не от избытка веры, а от разочарования: по собственному позднему признанию, он разуверился сперва в среде и целях революционеров, а затем и в собственной роли — роли «революционера-протестанта с 5000 р. годового дохода»³, состоятельного человека, играющего в народного заступника, — и тогда крепко задумался над Толстым. Первый визит в Ясную Поляну состоялся 1 сентября 1901 года; самое тесное общение пришлось на весну 1906-го, когда Наживин с семьей два месяца прожил в избушке издателя «Посредника» Горбунова-Посадова на хуторе Овсянники, в шести верстах от

¹ Доклад цензора С. И. Соколова о сб. «Дешевые люди» (ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 3. Д. 2193. Л. 266 об. — 269 об.). Цит. по: Русские писатели. 1800–1917. Т. 4.

² Ответ И. Ф. Наживина на анкету С. А. Венгерова (ИРЛИ. Ф. 377. № 2512). Цит. по: Русские писатели. 1800–1917. Т. 4.

³ *Наживин И. Ф.* Моя исповедь. С. 16.

усадьбы; а в последний раз он гостил у Толстого два дня осенью 1910 года — за неделю до ухода старика из дома. Наживин, таким образом, оказался среди последних, кто видел Толстого еще домашним — не бегущим и не умирающим. После смерти учителя он выпустил о нем несколько книг — «Дедушка Толстой», «Из жизни Л. Н. Толстого» (обе 1911).

Определяющей для этих лет стала не только близость к Толстому, но и все более явная тенденциозность прозы Наживина. В сборник «В долине скорби» (1907) вошла драма толстовского толка, и один из рецензентов вынес ей короткий приговор: проповедник в этом писателе окончательно взял верх над художником. В том же году вышел роман «...Менэ... Тэкэл... Фарес...» — во многом автобиографическая история интеллигента, воспитанного на либеральных книгах, разочаровавшегося в политической борьбе и, когда увидел изнанку европейского прогресса, отправившегося искать спасения в деревне и нравственном самосовершенствовании. Однако деревня не становится для него убежищем: герой погибает во время крестьянского бунта.

Роман перевели на болгарский, чешский и немецкий. Толстой относился к нему тепло, но трезво: хвалил Наживина за подлинность, за то, что тот пишет пережитое им самим, и тут же, по записи Маковицкого, отмечал погрешности против русского языка¹. В частных разговорах его оценка бывала еще жестче. По свидетельству Булгакова, Наживин казался Толстому человеком умным, но по-сектантски узким, слепо нетерпимым

¹ Литературное наследство. Т. 90: У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 2. М.: Наука, 1979. С. 381, 384–385.

ко всему, что расходилось с его взглядами, и плохо скрывавшим обиду на то, что книги каких-нибудь Андреевых и Арцыбашевых прекрасно расходятся, тогда как его собственные безнадежно залеживаются на полках¹.

К 1912 году, когда вышла первая книга автобиографической «Моей исповеди», претензии критики к Наживину окончательно оформились — и все ругали его за одно и то же. Горькому в «Исповеди» слышался крикливый, почти истерический тон человека, который не рассказывает, а обличает и поучает²; рецензия на повесть «Белые голуби принцессы Риты» годом позже называлась прямо — «Проповедь толстовских идей»³.

Толстовство не создало эту склонность с нуля, но придало ей систему, оправдание и форму. Проще говоря, у Наживина видели один сквозной изъян: проповедник в нем был сильнее художника. Он не умел отойти в сторону от собственного текста — недоговорить, спрятать оценку, дать читателю решить самому. Все, что он думал и чувствовал, вываливалось на страницу немедленно и без фильтра.

Для романиста это действительно приговор. Но есть жанр, в котором тот же изъян оборачивается достоинством, — дневник. От дневника никто не ждет художественной выдержки; от него ждут ровно противоположного — чтобы человек записывал все сразу,

¹ Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1989. С. 377.

² Горький М. Издалека (О «богатырской» литературе и книге Наживина «Моя исповедь») // Современник. 1912. № 11. С. 58.

³ Вентцель Н. Н. Проповедь толстовских идей (1913). Цит. по: Русские писатели. 1800–1917. Т. 4.

сгоряча, не успев ни осмыслить, ни приукрасить, ни отредактировать себя задним числом. Наживину этот жанр подходил как нельзя лучше: он не умел скрывать ни своих убеждений, ни сомнений, ни внезапных перемен во взглядах — даже когда записанное говорило против него самого.

Начало мировой войны Наживин застал за границей. В 1916 году он вернулся, недолго пожил в Харькове и в октябре перевез жену и четверых детей в Москву — то есть оказался в России за считанные месяцы до катастрофы, которую ему предстояло описывать: не ждал революцию, а просто вернулся домой — и попал. Тогда же вышла его последняя мирная книга — сборник подчеркнуто отвлеченных от действительности эссе «Вечерние облака. Книга тихого раздумья», предисловие к которой он заканчивал словами: «Ты устала — вот тебе, милая, немножко простеньких цветов, что я набрал по краям дороги»¹. Даже во время войны Наживин еще мог сознательно укрыться от современности в тихой пасторали. Но уже через несколько месяцев «тихое раздумье» станет невозможным: место пасторали займет хроника.

Материал для нее давала сама жизнь. В 1917 году Наживин жил главным образом в родных владимирских местах, время от времени приезжая в Москву — в редакции, к знакомым литераторам, на собрания, где старая интеллигенция пыталась понять, что с ней происходит. Революция, таким образом, доходила до него с двух сторон сразу: столичными разговорами — и деревенской

¹ *Наживин И. Ф. Вечерние облака: Книга тихого раздумья.* М., 1916. [Предисловие.]

явью, где все выглядело совсем иначе. К 1918 году стало ясно, что наблюдать дальше негде и не за чем: он бежит на юг, занятый белыми, — по его словам, спасаясь «от голода и крови»¹, чтобы бороться за старую Россию и за монархию. Там он начал сотрудничать с ОСВАГом — Осведомительным агентством при деникинской армии, в работе которого участвовали многие литераторы, в том числе Бунин. Наживин писал для фронтовых газет — ростовской «Жизни», екатеринодарской «Великой России», одесского «Южного слова», — выпускал агитационные брошюры («Что нужно знать солдату?», «Что же нам делать?», «Война деревни с городом») и выступал перед солдатскими гарнизонами. После разгрома армии Деникина в 1920 году он эвакуировался из Новороссийска в Болгарию, затем жил в Югославии, Австрии и Германии, а в 1924 году обосновался в Бельгии, где оставался до конца жизни.

И почти все это время Наживин записывал. Пока его мотало между Москвой, деревней, Ростовом и Геленджиком, рос дневник; в 1921 году, в Вене, этот дневник вышел книгой под названием «Записки о революции» — и вызвал самый громкий скандал в писательской биографии Наживина.

Книга охватывает время от конца февраля 1917-го, когда до автора доходит первое известие об отречении Николая, до 1920 года, когда пароход с беженцами увозит его из России. Между этими двумя точками — вся траектория перемещений писателя: февральская Мо-

¹ Цит. по: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: Энциклопедический биографический словарь / под общ. ред. В. В. Шелохаева. М.: РОССПЭН, 1997 (ст. «Наживин Иван Федорович»; далее — Русское зарубежье).

сква, редакции газет, деревня, юг, ОСВАГ, Геленджик, эвакуация. Наживин не реконструировал события задним числом, из спокойного эмигрантского далека, как это будут делать мемуаристы двадцатых и тридцатых, — он записывал по мере того, как все рушилось, и эта дневниковая основа определяет главное свойство книги: в ней нет итогового знания, нет выстроенной задним числом концепции. Есть растерянность, зафиксированная в реальном времени.

Начинается книга также с растерянности. Узнав по телефону о падении самодержавия и о том, что вместо монархии будет «как будто» республика, Наживин, по собственному признанию, пошел домой «полный самой тяжелой тревоги»¹. Никакого ликования, никакого ужаса — просто тревога человека, который не понимает, что происходит, и честно в этом расписывается. Дальше эта честность становится методом. Он фиксирует, как интеллигенция вокруг него лихорадочно пересматривает все, во что верила, — рабочий вопрос, женский, еврейский, земельный, церковный; как в редакциях вчерашние социалисты перечитывают думские речи черносотенца Маркова Второго и находят его умным человеком; как в газете, называющей себя социалистической, собравшиеся с некоторым стыдом вспоминают городского — скромного труженика на сорока рублях в месяц, которого всю жизнь звали «фараоном».

Одна из самых показательных сцен разыгрывается в редакции «Русских ведомостей» — старейшей либеральной газеты России, десятилетиями считавшейся совестью об-

¹ *Наживин И. Ф.* Записки о революции. Вена: Русь, 1921. С. 9. (Далее цитаты из «Записок» приводятся по этому изданию.)

разованного общества. Наживин что-то громко говорит, и старый народоволец Белоруссов, человек с революционным прошлым, вдруг яростно шипит ему: «Да тише же вы! Разве вы не видите, что тут жиды?» Наживин записывает собственное остолебенение: «И это было в редакции „Русских ведомостей“! Куда же это мы поехали?»¹

И это не единственный случай. Позднее Наживин разговаривает с отступающими петлюровскими солдатами, которые вполне разумно рассуждают о республике, свободе и равенстве, а затем столь же уверенно заявляют, что прежде всего надо «чертовых жидов всех вырезать». Его поражает не только сама неприкрытая риторика ненависти, но и легкость, с которой она уживается с только что произнесенными словами о свободе и братстве. «И те разумные речи — напетое, и эти погромные речи — напетое», — заключает он².

Здесь нужно остановиться и проговорить прямо то, что читатель книги увидит и сам: еврейская тема у Наживина — самое неудобное место «Записок». Тот же человек, который ужасался риторике ненависти, придя в Кремль по личному делу, записывает: «Всюду латыши, латыши, латыши и евреи, евреи, евреи. Антисемитом никогда я не был, но тут количество их буквально резало глаза»; секретаря Бонч-Бруевича он характеризует словом «еврейчик»³. А теперь вспомним биографию: это пишет человек, который женился на еврейке, когда это было и скандалом, и юридической проблемой, и который годами следовал за женой в черту оседлости, потому что закон не позволял ей жить там, где жил он.

¹ Записки о революции. С. 82.

² Записки о революции. С. 196.

³ Записки о революции. С. 93.

Свести Наживина к простому ярлыку не получается. Антисемитская риторика — и доверительно произнесенное «жида» в либеральной редакции, и открытый призыв к погрому — его очевидно шокирует. Но и не заметить, что у новой власти есть бросающийся в глаза национальный состав, он не может и не хочет. Поэтому в дневнике рядом оказываются и возмущение чужой ненавистью, и собственные наблюдения, которые сегодня компрометируют автора не меньше, чем записанные им реплики собеседников. Советский критик потом приведет сцену из «Русских ведомостей» как обличение разложившейся либеральной среды; эмигрантский — ехидно перескажет наживинские жалобы («и сколько кругом всяких нахалов, и сколько... евреев!»¹); оба возьмут из дневника ровно ту половину, что им пригодна. Наживин же записывал все — не всегда, кажется, отдавая себе отчет, как эти записи выглядят со стороны и что по ним можно будет предъявить ему самому. В этом простодушии — главная документальная ценность книги: более умный и осторожный мемуарист вычеркнул бы половину; Наживин оставил всё.

Особо ценная линия «Записок» — взгляд на революцию из провинции: как переворот отзывается в деревне и уездном городе, где в сменяющих друг друга правительствах, партиях, советах и комитетах не разбирался практически никто. Сам автор — человек начитанный, много лет вращавшийся в литературной и политической среде, — путается в этом калейдоскопе едва ли не

¹ [Португейс С. О.] [Рец. на кн.:] *Наживин И. Ф. Записки о революции*. Вена: Русь, 1921 / Ст. И. // *Современные записки*. 1921. Кн. VII. Критика и библиография. С. 400. (Далее — *Ст. И. [Португейс С. О.]*. Указ. соч.)

наравне со своими деревенскими соседями: голосует за меньшевиков, ведет переговоры с Союзом земельных собственников, обдумывает предложение баллотироваться в Учредительное собрание от народных социалистов, которым тут же в лицо говорит, что они просто кадеты, не имеющие мужества так называться. Эта неразбериха, которая у профессионального политика выглядела бы беспринципностью, у Наживина — точный слепок состояния миллионов людей, для которых партийные различия 1917 года были китайской грамотой, а выбор делался на ощупь, по инстинкту и страху.

Столь же беспощадна книга и к тому лагерю, в котором автор в итоге оказался. Белый юг у Наживина — это не героическая эпопея, а спекулянты, набитые кафе, дамы в бриллиантах, тыловые молодчики призывного возраста, пьянствующие генералы — и тут же, за соседними столиками, раненые офицеры в простреленных шинелях со следами засохшей крови, пьющие поддельный чай с сахарином, потому что настоящий им не по карману. Он описывает собственные агитационные выступления перед солдатами — говорил, по его словам, понятно и с огоньком, а с рядов на него смотрели тупые, совершенно равнодушные лица. Доходит до крайности: глядя на тыловое разложение, убежденный враг большевизма записывает молитву — послать сюда большевиков хоть на неделю, чтобы через ужас чрезвычайки эти люди наконец поняли, что они наделали. Свидетель, который проклинает обе стороны и не щадит себя самого, — редкий тип мемуариста для той эпохи, и именно это свойство обеспечило книге ее странную судьбу: каждый лагерь нашел в ней и убийственный материал против противника, и невыносимое зеркало для себя.

Революцию в целом Наживин определял как «банкротство» — прежде всего собственное, банкротство левой интеллигенции, к которой причислял и себя¹: они воображали свою роль в истории как триумфальный марш по вершинам веков в поучение всем народам — а получили уныние, позор и тяжелую работу по исправлению страшных ошибок. При этом вину за жестокость революции он возлагал и на старый режим, успевший утопить народ в крови еще на мировой войне. Эта двойная оптика — ни красным, ни белым, ни новой России, ни старой — и предопределила то, что произошло с книгой дальше.

Первой слово взяла эмиграция. И чтобы понять, почему она приняла книгу так, как приняла, нужно сначала разобраться, кто именно ее судил.

Русская эмиграция начала двадцатых — это не единый лагерь «противников большевиков», а осколки всего до-революционного политического спектра, перенесенные в Париж, Берлин и Прагу вместе с их старыми обидами. На одном фланге — монархисты и правые, для которых катастрофа началась в феврале 1917-го, с падения царя. На другом — социалисты: меньшевики и эсеры, злейшие враги большевиков, но враги особого рода. Для них Февральская революция была не катастрофой, а собственным выстраданным делом, главным событием их жизни; Октябрь же — переворотом, кражей: большевики отняли у них их революцию и изуродовали ее. Ключевое различие: правые проклинали революцию целиком, левые — только ее большевистский финал, свято храня память о «настоящем», февральском начале.

¹ Записки о революции. С. 6.

Так вот, толстые журналы и влиятельные газеты эмиграции в тот момент делали преимущественно социалисты. И «Записки о революции» попали на рецензию именно к ним — к людям, для которых Февраль был святыней. А Наживин в своей книге проклинал не только Октябрь. Он прямым текстом писал, что первое же известие о падении самодержавия наполнило его тяжелой тревогой; он тосковал по городскому и жандармам; он называл всю революцию, начиная с Февральской, банкротством левых деятелей — то есть тех самых людей, которым теперь предстояло писать на его книгу рецензии. Эффект несложно предсказать: для рецензента-социалиста это была не полемика, а плевок в его собственную биографию.

Первым и самым весомым откликом стала рецензия в парижских «Современных записках» (1921, кн. VII) — журнале, основанном правыми эсерами, — за подписью «Ст. И.»: под псевдонимом скрывался видный меньшевистский публицист С. О. Португейс, писавший также под именем Ст. Иванович.

Рецензия начинается почти как защита Наживина. Увидев на обороте обложки посвящение «памяти павших под трехцветным знаменем за нашу старую Россию — Великую, Единую, Неделимую», читатель, замечает Иванович, может сразу отложить книгу автора, уже заслужившего «дурную славу человека реакции, монархиста и злостного врага новой чаемой России». (Характерно слово «чаемая»: в 1921 году Португейс все еще верил в будущую демократическую Россию, которой пока не существовало, но врагом которой Наживина уже успели объявить.) «Против этого я хочу решительно возразить», — объявляет критик и называет «Записки»

«человеческим документом большого психологического и культурно-исторического значения»¹.

Однако защита немедленно оборачивается обвинением. Ценность книги для Ивановича состоит не в том, что Наживин сохранил свидетельство о революции, а в том, что он невольно выставил напоказ психологию ее противника: это «книга-стон, горький плач, налитое желчью раздражение талантливго обывателя». Рецензент не уличает автора во лжи. Напротив, он находит книгу искренней: Наживин «не подделывается под революцию», честно пишет, что не понимает ее, и потому для него происходящее — «чепуха, мерзость, дрянь, подлость»². Факты как таковые Иванович не оспаривает — он отказывает автору *в праве* судить об их смысле. В его рецензии Наживин — наглядный пример того, как «левого, гуманного, здравомыслящего человека» толкают в объятия реакции не идеи, а потревоженный быт.

Эта мысль доводится до почти гротескной жестокости. Личные бедствия Наживина Иванович сводит к «трагическому сознанию революционного неююта», к «потревоженности обывательской божьей коровки»³. В ее счете революции рядом оказываются смерть детей, пристреленная легавая, картонная подошва, разрушенная усадьба, недострелянные вальдшнепы и разбитый чайный сервиз. Все это для рецензента — лишь частные обиды собственника, неспособного понять смысл происходящего. Книга при этом признается полезной — но в издательском смысле: не как свидетельство о революции, а как материал для изучения самого свидетеля,

¹ Ст. И. [Португейс С. О.]. Указ. соч. С. 400.

² Там же. С. 401.

³ Там же. С. 402.

«незаменимое руководство к тому, чтобы поближе узнать автора, приглядеться к нему»¹ — бунтующему обывателю революции.

Той же осенью в берлинском «Голосе России» — газете тоже левого, демократического направления — вышла статья Б. Мирского, чья ирония вынесена прямо в заголовок: «„Белые лилии“ обывателя»². Журнал «Сполохи» оценил книгу как «воплъ обывателя, маленького, задавленного грандиозностью событий человека»³. Слово было найдено, и оно одно на всех: обыватель. Не враг, не идеолог контрреволюции, а хуже — маленький испуганный человек, который видит только ближайшее, не понимает исторического смысла происходящего и потому не имеет права о нем судить. За этой формулой легко угадывалось снисхождение профессиональных политиков к тому, кто оказался внутри революции, но не сумел подняться до ее «правильного» понимания.

Это определение закрепилось за Наживиным намертво. Когда годом позже вышла его следующая книга воспоминаний, «Среди потухших маяков», левая печать встретила ее заголовками уже почти глумливыми. Статья И. Василевского называлась «Кающийся бухгалтер»⁴, а формулу о «божьей коровке» подхватил сам Виктор Чернов — лидер партии эсеров и бывший председатель Учредительного собрания, озаглавивший свою рецензию «Разочарованная божья коров-

¹ Там же.

² *Мирский Б.* «Белые лилии» обывателя // Голос России. Берлин, 1921. 9 окт. Цит. по: Русские писатели. 1800–1917. Т. 4.

³ Сполохи. Берлин, [1921–1922]. Цит. по: Русское зарубежье.

⁴ *Василевский И. М. (Не-Буква).* Кающийся бухгалтер // Накануне. Берлин, 1922. 4 авг. Цит. по: Русские писатели. 1800–1917. Т. 4.